



МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН



Московская книга



SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

Однажды, задержавшись допоздна в Доме пионеров, герой-рассказчик заблудился в родном городе и поехал на трамвае не в ту сторону...

- [Юрий Нагибин](#)



Юрий Нагибин

Не в ту сторону

Я был помешан на пионерском галстуке, как д'Артаньян на мушкетерском плаще, и доставался он мне так же непросто. Отчего такое: если человек о чем-либо страстно мечтает, ему требуются сверхгероические усилия, чтобы достичь цели, в то время как другому, ленивому и безразличному, это дается почти даром?

Чтобы рассказ мой был понятен людям сегодняшнего дня, нужно коснуться истории. В пору моего детства некоторые организационные формы еще не окрепли и являли собой нечто студенистое. Никто толком не знал, когда и за какие заслуги человек в возрасте октябренька может стать пионером. Во многих школах вообще не было октябрятских «звездочек» и в пионеры принимали сразу, без предварительного искусства, где с третьего класса, где со второго, а бывало, даже с первого, если тебе стукнуло десять. В школе, где я учился, принимали, как правило, с третьего. Но ведь до третьего класса дожить надо, да еще без пионерского галстука!..

Дюма настойчиво подчеркивает, что д'Артаньян грезил о плаще. Конечно, он хотел стать мушкетером не только из-за плаща, особенно вначале, когда еще был способен разбираться в своих чувствах. Им владело честолюбие, желание оказаться поближе к особе короля, манил ореол дерзкой отваги и бретерства, осенявший головы тревилевых забияк, риск и выгоды почетной службы и многое, многое другое. Но потом все слилось в единый символ: расшитый золотом мушкетерский плащ.

Конечно, я жаждал барабана и горна, и красного знамени, и таинственных, недоступных простым смертным сборищ, где говорят только правду, и приветствия, знака посвященных — ребром ладони ко лбу, и сладкозвучия слов: «Будь готов!», «Всегда готов!», и той озабоченности, что заставляла пионеров оставаться в школьных стенах после уроков, но вскоре все это собралось, как в фокусе, в красном галстуке.

Целый месяц я ухлопал на попытку проникнуть в пионерские ряды через школу в Старосадском переулке, где учился мой друг и сосед по квартире Толька Симаков. Эта школа стояла под боком немецкой кирхи, за одной оградой. Толька сумел каким-то образом зачислить меня в соискатели красного галстука.

Там оформлялась пионерская комната. Стены разделили на квадраты, кандидатов в пионеры разбили по двое и каждой паре

выделили участок для оформления в меру эстетического вкуса и идейной зрелости. Пока другие ребята с помощью картофельного клейстера клеили лозунги, малевали, высунув от усердия язык, красные звезды, напоминающие по корявости морские, мы решили поставить дело на серьезную коммерческую ногу. Идея принадлежала мне. Я был чужаком здесь, и нужно было сразу выделиться, чтобы кто-нибудь не поинтересовался: а чего, собственно, путается под ногами этот вялый, безынициативный парнишка из чужой школы?..

Вечером, когда кончался подвоз к винным подвалам, расположенным под нашим домом, и у подвальных зевов громоздились ящики с пустыми бутылками — грузчики не успевали спускать их вниз, — мы с Толькой шарахнули ящик. На такое дело никто еще не отважился. Ну, свистнуть одну-две бутылки — куда ни шло, а чтоб целый ящик, тяжелый, щедро озвученный стеклянной начинкой, да к тому же на глазах сторожа, — ни о чем подобном не упоминалось в дворовых преданиях.

Ящик мы разломали и выбросили, а бутылки сдали. На выручку в чудесном писчебумажном магазине возле Петроверигского переулкa купили репродукций картин, изображающих взятие Зимнего, рейды Первой Конной и юного Пушкина, читающего стихи на выпускном вечере в лицее, кроме того, бумажные гирлянды, картонные звезды и сельский календарь с могучим трактором, готовым перепахать всю планету. И еще нам сунули в премию автодоровскую афишку. Все это, включая афишку, мы с усердием и гордостью пристроили в нашем квадрате. И слабые угрызения совести испарились без следа — рядом с нашей экспозицией доморощенные потуги соперников казались жалкими.

Мы переборщили. Недаром среди всех человеческих добродетелей особенно превозносятся скромность. Тут дело не в этике, а в инстинкте самосохранения. Скромность — спасительная мимикрия, вроде тех хитрых приспособлений, что помогают насекомому притвориться листиком или травинкой и уцелеть среди опасностей мира. Мы не были скромны, и нас постигла кара. Все остальные ребята поняли, что их провели. Среди них было немало обитателей нашего дома, сразу же смекнувших, откуда возникло столь неожиданное богатство. Ну а ребята других домов, где не имелось такого надежного источника дохода, как винные подвалы, тоже не растерялись, — всегда найдется где украсть, была бы охота. Тем более что конторы утильсырья, многочисленные в ту пору, как сыроежки в дождливое лето, охотно принимали в качестве металлолома и

утюги, и кастрюли, и сковородки, и подсвечники, и серебряные ложки. Вскоре в школу посыпались многочисленные «сигналы» от пострадавших. В один роковой день стены пионерской комнаты оказались насвежо оклеенными веселенькими обоями с ромашками — от наших самоотверженных и нечистых усилий не осталось и следа. А мне была сказана зловещая фраза, до сих пор вызывающая у меня холодок ужаса:

— Танцуй, мальчик, отсюда!..

И я выкатился из этой школы, из пионерской комнаты, где уже коснулся кончиками пальцев красного галстука. Мрачно и укоризненно смотрела на меня островерхая кирха, когда, едва удерживаясь от слез, тащился я через церковно-школьный двор. В вопросе присвоения чужой собственности пионерская и религиозная этика совпадают...

Следующий этап хождения по мукам связан для меня с ВСНХ. Было такое учреждение в дни моего детства и отрочества. Оно помещалось в громадном сером доме на площади Ногина. У моего одноклассника Саши Черняева, полуслеплого очкаря, отец занимал ответственный пост в ВСНХ. Саша устроил меня в пионерский клуб при этом высоком учреждении. Мелюзга, подобная нам, находилась там на положении пригостишек. Для занятий нам выделили две большие комнаты в полуподвальном этаже с широченными окнами, чуть не до форточек утопленными в тротуаре. Смежное помещение с залом, мастерскими и комнатами для умственных игр принадлежало пионерскому отряду. А еще полуподвал приютил дошколят, которых тут обслуживали, воспитывали и развлекали на общественных началах.

Я попал туда в разгар трудовой деятельности, в октябре. К этому времени определились два ближайших кандидата на получение пионерского галстука: рослый, полноватый, чуть женственный Гога Рубинов и старообразный, с тощим, истомленным ранней и непосильной мыслью личиком Вася Трушин.

Программа занятий была велика и разнообразна. Каждый вечер мы что-то строгали, пилили, сколачивали, делали физическую зарядку, рисовали, оформляли различные стенды, писали плакаты, пели хором «Юного барабанщика», «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Смело, товарищи, в ногу», а для разрядки «Милую картошку, пионеров идеал» и «Шандарба, струны Анна приколачивала».

Все это было очень здорово, по-моему, так и надо, чтобы в пионеры принимали людей разносторонне развитых, умеющих работать и руками, и головой, веселых, спортивных и если не

поющих, то хотя бы знающих слова песен. Но у меня все пошло кривь и вкось. Никогда и нигде не чувствовал я себя таким потерянным и одиноким, как в пионерском полуподвале ВСНХ. Я был здесь как на чужбине. Ребят объединяло то, что родители их работали в одном учреждении, к тому же многие жили поблизости, в домах ВСНХ, и учились в одной школе на Солянке. Я же считался инородцем, ибо для юных обитателей площади Ногина и расходящихся от нее лучами улиц за Ильинскими воротами начиналась чужбина, а Лобковский, где находилась моя школа, представлялся чем-то вроде Огненной Земли или острова Тристан-да-Кунья. Слабодушный Саша Черняев, обнаружив мою изолированность, бросил меня на произвол судьбы. Его близорукие, рачьи — за выпуклыми стеклами — глаза вовсе слепли, обращаясь в мою сторону.

И вот что любопытно: в школе я считался выдающимся художником да и вообще ходил в способных и ловких, а здесь оказался дурак дураком. Карандаш и краски меня не слушались, на плакатах буквы сползали под откос, молоток бил только по пальцам, а гвозди гнулись. Даже на зарядке мне никак не удавалось попасть в общий ритм. Я чувствовал себя изгоем, и это вязало мою душу, движения, мысли. Однажды нам поручили сделать рукоятки для стамесок и покрасить морилкой. Ребята быстро справились с несложным заданием и сдали рукоятки трудовику, так мы называли долговязого малого, занимавшегося с нами столярным делом, а я все возился со своим кривым, убогим изделием. Наконец, решив, что лучше не будет, сунул его в котелок с краской. Странная то была краска, густая, липучая, с отвратительным запахом, к тому же упорно не желавшая высыхать. Раздосадованный моей возней, трудовик выхватил у меня рукоятку и неприлично выругался. Его ладонь приклеилась, и он тщетно пытался стряхнуть мою кривулину. Оказывается, я сунул впопыхах рукоятку в котелок с разведенным столярным клеем.

Другой раз я задумал отличиться в пении. Я обожал всякое пение: хоровое и сольное, громкое и тихое, солдатское особенно, и вечернее, дворовое — на крылечке, и деревенское — уличное под гармонь. И я не знал, что начисто лишен слуха. Вернее, у меня есть какой-то внутренний слух, позволяющий мгновенно распознавать мелодию, помнить про себя и чутко угадывать малейшую фальшь. Но я ошибался, полагая, что могу воспроизводить звучащую во мне музыку. Раз я услышал, как по пути в баню рота красноармейцев пела «Там вдали за рекой». Когда кончился куплет, чей-то высокий тенор еще долго тянул последнюю ноту, жалобно, чуть дрожаще и пленительно. Я

попробовал ему подражать, тянулось, может, хуже, чем у красноармейца, но тоже — будь здоров! Как-никак я мог не дышать без малого три минуты.

И вот, когда в очередной раз наш хор завел «Юного барабанщика», я «подпустил» тенора. Оглушив самого себя, как токующий тетерев, я не заметил, что песня замолкла, а следующему куплету полагалось начинаться внутри долгой, жалобной ноты. Похоже, я уподобился Саше Черняеву в этот роковой момент, ибо не видел, что лица окружающих искажены смехом. Я был так упоен собой, что не услышал и возмущенного вопля хормейстера: «Прекратить хулиганство!» — и очнулся, лишь когда он стал трясти меня за плечи. Но вся его ядовитая брань не произвела на меня такого впечатления, как удручающее открытие, что мне медведь на ухо наступил. А я-то рисовался себе в недалеком героическом будущем ротным запевалой!..

Вместо того чтобы приблизиться к красному галстуку, я еще более отдалился от него. Рубинов и Трушин казались мне недостижимыми образцами. Их пример не вдохновлял, а угнетал. Они были прекрасны и нереальны, как герои Древней Греции, в чьих делах участвовали на равных боги. Что же являли собой эти двое, если остальные ребята, не удостоенные выдвижения, настолько превосходили меня? Все они так замечательно строга́ли, рисовали, клеили, пели. Но как же строга́ли, рисовали, клеили и пели те двое? Уму непостижимо! До них было далеко, как до самых далеких звезд.

Чувство отчужденности все нарастало во мне. Я уверился в собственном убожестве и прятался в него, как улитка в свой раковинный домик. Мне уже не хотелось сравняться с другими ребятами, доказать, что и я чего-то стою. Преувеличивая их антипатию ко мне, я бессознательно копил в себе злобу. Вскоре я почти ненавидел полуподвальную команду. Вместо того чтобы приблизить заветную цель, меня отшвырнули за край надежды.

Как-то раз я заглянул в освещенные окна соседнего с нами, тоже полуподвального помещения и увидел знакомую рыхловатую фигуру, окруженную малышами. Были среди них и такие, что совсем недавно и не очень прочно освоили вертикальный образ жизни, и такие, которым через год-другой в школу. Они что-то строили из кубиков, рисовали цветными карандашами, кроили из бумаги, без дела никто не слонялся. Группа самых крошечных окружала Гогу Рубинова, и он говорил им что-то, порой замолкая в ожидании то ли ответа, то ли подсказки. Они играли в разговорную игру, развивавшую живую речь. Лишь раз Рубинов отвлекся, чтобы вырвать палку у малыша, пытавшегося ударить другого малыша по кумполу. Неторопливый

по природе, Рубинов и сейчас не суетился, но поспел в самый раз, когда палка уже готова была опуститься на белобрысое темечко. Затем он вернулся на свое место. Малыши смотрели на него серьезно и доверчиво, как на взрослого человека. Я не отдавал себе отчета, чем заворожило меня это зрелище. Все знают, как сладко подглядывать в освещенные окна. Чувствуешь себя вроде Господа Бога, которому открыто все тайное, сокровенное. Но здесь было другое. Ничего особенно интересного, никаких тайн я не мог увидеть. Но что-то поразило меня в Рубинове, от него веяло покоем, тишиной, сосредоточенностью, будто ничего другого в жизни ему и не надо. Обычно все делаешь для какой-то цели. А вот чтоб ни для чего, только ради самого дела — это редко бывает. Почти всегда примешивается постороннее: хочешь отличиться, выставиться, показать себя, заслужить похвалу товарищей или взрослых. Но вдруг находит такое: рисуешь, и начхать — понравится твой рисунок кому-то или нет, рисуешь — и все тут!

Рубинов не знал, что за ним наблюдают, да и плевать он хотел на все, кроме этих ребятишек. Он был весь в них, в разговоре с ними, в наблюдении, чтобы они не проломили друг дружке черепушек палкой, чтоб каждый был занят веселым и добрым делом. Гога Рубинов ничего тут не выгадывал, даже красного галстука, — вот что я тогда с удивлением понял.

В тот вечер мы задержались допоздна: много строгали, много клеили, долго обсуждали, как лучше подготовиться к приближающимся ноябрьским праздникам, а потом еще пели и слушали революционные стихи, написанные нашими ребятами. Новое унижение для меня. Уже в ту далекую пору обнаружилось мое полнейшее неумение зарифмовать хотя бы четыре строчки. Две — куда ни шло, четверостишие — хоть убей, не получалось. А здешние удалцы и стихи сочинять горазды. Странно, почему вся многогранная деятельность полуподвала никак не пересекалась с тем, что я умею. А что я умею? Рисовать. Дома и в школе я по-прежнему умею рисовать, а здесь ничего не получается. Может, и с другими моими способностями произойдет то же? В соприкосновении с чуждым и враждебным мне мирком все хорошее во мне искажается, как в кривом зеркале. Холодный и безучастный посреди всеобщего ликования, я оттосковал вечер, который, казалось, никогда не кончится.

В довершение всего куда-то запропастились калоши, и, пока я отыскал их, прошло немало времени. На площади Ногина я оказался в двенадцатом часу. Хорошо, хоть гривенник у меня был, можно доехать на 21-м номере до самого Армянского переуллка. А пешком тут верных полчаса ходу, да и страшновато, я еще

никогда так поздно по улицам не ходил. Обычно мы кончали наши занятия в начале десятого.

Я пересек площадь и вышел на трамвайную остановку возле бульвара. И без часов угадывалось, что час поздний. Пустынно. Трамваи ходят редко, но ожидающего народа — раз, два и обчелся.

Я стоял посреди площади, пусть и не ставшей мне родной, как Покровка или Мясницкие ворота, но все же привычной, знакомой, и смутная тревога сгушалась во мне. Громада ВСНХ, Китайская стена, уходящая к Москве-реке, горбатая Варварка, сквер, круто вздымающийся к Ильинским воротам, старая церковка с луковичками куполов, жилые дома с тускло освещенными зашторенными окнами, голые деревья и небо с плоской холодной луной — все это таило не то угрозу, не то предостережение. Неужели причина в том, что вечер вот-вот станет ночью, а меня пугало самое слово «ночь», черное, мохнатое, кладбищенское? Я боялся даже ночи за окнами моего дома, населенной бледными крышами и пятиглавием церкви в Армянском переулке. Но там я чувствовал себя под защитой жилья, и это помогало бороться страх. Я боялся и дачной, и деревенской ночи, таинственной ночи обретающих одушевленность деревьев, оживающих теней, сбрасывающих сонную одурь болот, лунных полян. Я слишком долго верил во всякую нечисть, хозяйничающую взамен уснувших людей, чтобы, разделившись с этой наивной верой, обрести полное доверие к ночи. Ну конечно, ведьмы, колдуны, вурдалаки, духи — чепуха, но душа сама населяет ночь призраками, и от этого никуда не денешься.

Как малолюдна огромная площадь, щемяще малолюдна, и чересчур много темного, низкого и вместе — бездонного неба, проблескивающего мелкими недобрыми звездами. Оно вбирает в себя постепенно слепнувшие дома, крыши уже не проглядываются в вышине, слившись с его тьмою. Замирала последняя жизнь вокруг, ночь властно вступала в свои права. Осенний, пронизывающий ветер погнал сухую листву со сквера, загредел цепями урн, завывл в подворотнях и водосточных трубах. Скорее бы подошел трамвай, залитый светом, звенящий, гремящий, теплый, с уютной ворчливой кондукторшей и добрыми усталыми пассажирами. Когда в вагоне много свободных мест, пассажиры всегда добрые. Но трамвая не было...

Пойти пешком? Я представил себе долгий путь по скверу, похожему на кладбище, по темной, мрачной Маросейке, враждебной и жутковатой даже в дневное время, и понял, что должен дожидаться трамвая, сколько бы ни пришлось ждать.

Мой дом стал казаться мне очень далеким и безмерно милым, я впервые понял по-настоящему, как люблю свою комнату с трапедией и старым письменным столом, набитым рисунками, тетрадками, альбомами, инструментами, пистолетами, всякими поделками из дерева, коры, фанеры, проволоки, гербариями, источающими печальный запах засохшего лета. Как люблю я свой продавленный диван, и вольтеровское кресло с высокой спинкой и нежно стонущими пружинами, и лампу с шелковым фисташковым абажуром в полукруглых коричневых подпалинах. В носу подозрительно покалывало, а ведь я не успел еще подумать о маме и Вероне...

У меня застыли ноги. Я стал приплясывать, немного пробежался, не отдаляясь особенно от желтого круга света, в котором терпеливо маячило несколько изыбших фигур. Движение прибавило бодрости, я увеличил дистанцию пробежки и вдруг увидел трамвай, загадочно бесшумно и незаметно подкравшийся к остановке. Какой-то трамвай-призрак. Я едва успел вскочить на подножку, как он тронулся.

Хорошо, когда у человека есть гривенник. Кондукторша, чье лицо недобро озаботилось при моем появлении, мигом просветлела, увидев серебряную монетку в протянутой к ней руке. Она крепко вложила мне в ладонь билет, и я уселся по правую сторону от прохода, у окошка. Пустынный прицепной вагон сильно раскачивало, подкидывало на стрелках и стыках рельсов, и мои размышления вскоре стали под стать грезам. Я все время сознавал, что еду в трамвае, к себе домой, что очень поздно, и мои беспокоятся, и мама уже звонила в милицию и в морг. Пребывая внутри этой вполне бытовой тревоги, я одновременно находился в странно преображенных событиях минувшего дня. Я был в комнате для малолетних, и Рубинов обходился со мной как с несмышленищем. Он предлагал мне на выбор: пускать мыльные пузыри или сводить переводные картинки. Мне хотелось объяснить ему, что это недоразумение, я сам без пяти минут пионер, но что-то мешало мне. Видимо, слишком резкий толчок выбивал меня в явь, а затем опять Рубинов лез с мыльными пузырями и переводными картинками, и я опять не успевал объясниться с ним.

В какой-то миг трамвай, окошко и наша мелькающая по мостовой тень стали слишком явственны, и я испугался, почему мы так долго едем. Неужели я прозевал свою остановку? Я стал вглядываться в пробегающие мимо дома, темные, низкорослые, с одинокой лампочкой над подворотней. Незнакомые, чужие дома. Маросейка?.. Нет, какими бы чужими, даже враждебными ни казались мне дома на Маросейке, где нас, армянских, жестоко

преследовали, они были предвестниками моего родного дома, а эти угрюмые, облезлые строения — их и домами не назовешь — безмерно далеки от привычной мне жизни. Встревоженный, я вышел на заднюю площадку.

Может, где-то разрыли пути и мы делаем крюк? Я лихорадочно соображал, какой объезд может привести нас на Покровку. Ничего не получалось. Любой воображаемый маршрут уводил меня в неизвестность.

— Это двадцать первый? — спросил я кондукторшу.

Она поглядела на меня сверху вниз сонными злыми глазами, вправленными в каленое, с фиолетовым румянцем лицо:

— А какой же еще?

Мне чуть полегчало.

— Покровка скоро?

Она вдруг рассердилась:

— Еще чего!.. Ты куда едешь?

На какие-то мгновения мой скромный мозговой аппарат выключился, бессильный справиться со столь противоречивой информацией: я действительно еду на двадцать первом, а он идет вовсе не туда, куда следует. Да я же ехал сегодня этим трамваем от Армянского до площади Ногина, не мог же он за вечер изменить маршрут?..

— Тебе в другую сторону, — сочувственно сказал какой-то пассажир.

Боже мой, куда же я заехал?..

И, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, возник мост, а под ним река, черная, маслянистая, тускло отблескивающая. Река не принадлежала моему привычью. Чтобы оказаться на реке, нужны были необыкновенные события: праздничная иллюминация, когда меня водили на Москву-реку любоваться МОГЭСом, украшенным лампочками, или весенний паводок, когда по вспухшей воде, ворочаясь, плыли грязные льдины и люди почтительно говорили: «Можайский лед пошел». От моего дома до реки было так же далеко, как от паводка до иллюминации.

Я толком не знаю, какая то была река, наверное, Яуза. Она не показалась мне широкой, а ведь тогда воображение преувеличивало все страшное. А река — это очень страшно. Это рубеж, за ней другой город, незнакомый и опасный. Я хотел прыгнуть на ходу, но кондукторша и сочувствующий пассажир, будто догадавшись о моем намерении, успели схватить меня за плечи. Кондукторша ругалась на чем свет стоит и грозила отправить меня в милицию, а сочувствующий человек мягко уговаривал дождаться остановки и пересечь на встречный

трамвай. Хорошо ему рассуждать, а где возьмешь другой гривенник?

Опять бежали глухие, слепые дома, черные подворотни, редкие фонари, вывески, на которых ничего нельзя разобрать, остановки все не было. И я решил уже кинуться в тьму булыжной мостовой, как в омут, когда трамвай вдруг резко, трескуче затормозил, барабаны решеткой по камням.

Я сошел на пустынную остановку посреди совершенно пустой, прямой и бесконечной в оба конца улицы и побежал назад. Шаги мои гулко отдавались в тишине. Я бежал и плакал. Прямо-таки ревел от страха, обиды и тоски по дому. Миновал мост, стараясь не глядеть на маслянистую черную воду, и увидел впереди женщину. Непонятно, откуда она появилась, будто из-под земли выросла. Я сразу перестал плакать, прибавил ходу и нагнал женщину. Она шла, громко разговаривая сама с собой, вернее, с незримым собеседником:

— Подумаешь!.. Испугал!.. Возьму и уйду... И пожалуйста... Это уж мое дело... Вот и уйду... И ничего...

Услышав мои шаги, она резко повернулась:

— Ты чего тут?..

— Я заблудился. Мне в Армянский надо...

— Это где ж такое? — по-доброму всполошилась женщина. — Что-то не слыхала.

— Покровка... Маросейка...

— Мать честная!.. Куда ж тебя занесло!

— Я трамвай перепутал.

— Надо же! — Женщина рассмеялась звонким, молодым смехом.

Вначале она показалась мне старой. Лицо у нее было мягкое, тени под глазами. А сейчас я увидел, что она совсем молодая, только усталая, да и размазалась тушь с ресниц, затенив подглазья и скулы. Она наклонилась, и я почувствовал запах вина.

— Ты плакал? — спросила женщина. — Брось!.. Ничто в мире слезиночки не стоит.

— А вы сами плакали, — сказал я.

— Луку надышалась!.. Ну и плевать!.. Пошли!.. «Ах, Коля, грудь больно, любила — довольно...» — запела она хриловато, но мелодично. — «Сире-ень цвете-от, не пла-ачь приде-от...» Чего же ты? Подпевай. Или не знаешь?

Мне ли не знать этой песни, нежного и задорного гимна золотых акуловских дней! Не замолкая, звучала она в дачном саду, на реке, в поле, по дороге в лес...

— Знаю, — сказал я, — да нельзя мне.

— Это почему же? Петь каждому можно.

— Слуха совсем нет.

— Беда! Не люблю, кто не поет. А ты бы хоть сам с собой пел, — попросила она.

— Я пою. Сам с собой я всегда пою!

— Ну и правильно! А меня стесняться нечего. Подпевай. «Сирень цветет-от!..» А, черт!..

Она сильно оступилась, еще раз оступилась, захромала и остановилась, как-то странно согнув ногу:

— Каблук, будь он неладен!..

У нее сломался каблук. Она попыталась приладить его, опершись о мое плечо, но ничего не получилось. Тогда она совсем оторвала каблук и отшвырнула прочь:

— Вот так всегда у меня! Только чего заладится... Плевать, как-нибудь дотрюхает.

Мы заковыляли дальше, и тут наперерез нам из переулочка вышел пожилой человек в прорезиненном плаще, сапогах и суконной фуражке.

— Эй, дядя! — окликнула его женщина. — Тебя-то и надо! Проводи мальчонку!

Человек остановился. Под крепко пахнущим резиной плащом виднелась военная гимнастерка. Сапоги на нем были старого фасона: высокие, по самую коленную чашечку, и в обтяжку, что подчеркивало кривизну тонких ног.

— Нечего ему по улицам шляться. Спать надо!

— Да заблудился он. Ему на Покровку, — пояснила женщина. — Доведешь?.. — Она наклонилась ко мне, и я снова почувствовал конфетный запах вина. — Ну, прощай!.. А смешно — сколько лет пройдет, ты вырастешь, станешь большим и никогда больше меня не увидишь. И я тебя не увижу. Понимаешь? Мы никогда, никогда с тобой не увидимся. Ни-ко-гда!..

Она выпрямилась и, прихрамывая, пошла через дорогу. Сам не знаю почему, мне вдруг смертельно жаль стало, что мы с ней никогда не увидимся. Вроде бы что тут такого: каждый день встречаешь уйму людей, с которыми тоже никогда больше не увидишься, и дела до них нет, а вот сейчас мне реветь хотелось оттого, что я больше не увижу этой женщины...

— «Проводи», «проводи»! — сердито ворчал человек. — А спросила, куда я иду?.. Мне в другую сторону! — И не в лад своим словам он жестко взял меня за руку.

— Пустите!

— Отставить разговорчики!.. Кто она тебе?

— Никто! — буркнул я.

— Это что еще такое? — загремел он. — «Никто»!.. Каждый

есть кто-нибудь. «Никто» — ишь фендрик!..

Я не выносил разносов от посторонних людей, но что-то в его тоне заставило меня прикусить язык. Я вовсе не боялся его и знал, что он меня не бросит, просто увидел этого человека не в суконном картузе, а в буденовке, и не в ночном московском переулке, а в ковыльной степи...

Он здорово разбирался в местности. Мы завернули в проходной двор, затем прошли другим двором, уже не проходным, но с лазом в деревянном заборе, возле таинственно поблескивающей помойки, и вскоре, будто дуновением тепла, я ощутил близость родного предела. Только шли мы как-то странно: сделаем шагов десять и постоим. Вначале я думал, что это нужно ему для выбора направления. Но когда улица круто забрала в гору, человек выпустил мою руку.

— Дальше не пойду. Мотор не тянет. — Он постучал по груди, где сердце. — Ступай прямо, никуда не сворачивай, выйдешь к Армянскому. Не боишься?

— Нет! — сказал я по-солдатски готовно и неискренне.

— Молодец! — Голос его потеплел. — Терпеть не люблю трусов. Ну, бывай!

Он повернулся и зашагал прочь на своих гнутых ногах кавалериста.

И опять стало грустно. Еще один человек приблизился ко мне и скрылся навсегда. От моей руки, которую он держал, пахло табаком, а от плеча — той женщиной, ее одеколоном и пудрой. Два человека из ночи оставили на мне свои метки. Но завтра слабые запахи испарятся. Я понюхал свое плечо, втянул табачной горечи от пальцев, вздохнул и пошел совсем не туда, куда меня направил бывший военный.

Почему я это сделал? От растерянности, топографического кретинизма? Нет, тут что-то другое, более сложное. Может, мною двигало неосознанное сожаление, что все так просто разрешилось? Незамысловатость спасения унижала остроту переживаний? Или же я не исчерпал ночи? Мое движение в сторону от дома не было осознанным, я словно играл сам с собою в какую-то запретную для сознания игру. Поднявшись на кручу, где стоял монастырь, освещенный запутавшейся в ветвях рослых вязов луной, я вернул себе холодок опасности. Куда идти? Вдоль монастырской стены? Но это явно уведет меня прочь от дома. Продолжать путь? Наверняка заблудишься. Вернуться туда, где мы расстались с моим провожатым?.. И тут я услышал свист.

С той же стороны, откуда пришел я, поднимался человек. Он был еще далеко от меня, но его длинная тень подбиралась к моим ногам и вдруг исчезла, — монастырская стена отрезала

прохожего от луны.

— Kolossal! — восторгался человек. — Wunderbar!.. O, du geheimnibvolles Asien!

— Дяденька, — сказал я фальшиво-нищенским голосом, какого прежде не знал за собой. — Где Покровка?

— Wen gehört diese Stimme? — удивился немец. — Wo bist du, mein Kind?

— Da bin ich! — откликнулось дитя. — Sagen Sie bitte, wo ist Pokrowka?

Как бы гордилась моя мама, из последних сил учившая меня немецкому языку, если б слышала этот непринужденный разговор! Она никогда не спрашивала меня об успехах, убежденная, что я не знаю ни бельмеса. И вот...

Читателю может показаться странным, что я так спокойно и доверчиво обратился к чужеземцу, а не стал выслеживать его как шпиона. Но Гитлер тогда еще не пришел к власти. В иностранце мы охотнее видели революционера, забастовщика, докера, чем врага.

Я не ошибся в немце, хоть он не был ни революционером, ни докером. Он что-то строил на Волге и в Москве находился проездом. Он восторгался нашей столицей, где «Европа обнимается с Азией», а по ночным улицам бродят мальчики, свободно говорящие по-немецки. Он еще что-то лопотал, но я перестал его понимать. Он говорил слишком быстро и злоупотреблял произношением.

Немец, конечно, понятия не имел, где находится Покровка. После того как я пресек его попытки увести меня назад к Язуе, мы, слегка поплутав в окрестностях монастыря, оказались в Старосадском переулке. Возле немецкой кирпичи я сказал, что теперь дойду сам. Я чувствовал, что ему хочется вернуться к монастырю. На кирпичу он и внимания не обратил.

Немец настаивал на том, чтобы довести меня до самого дома. В этой деликатной борьбе победил я. Мы расстались сердечно. Через несколько минут я был на Покровке. И тут — будто напороочила сердитая кондукторша — я попал в лапы милиции.

По тротуару, от церковки Косьмы и Дамиана, что на углу Старосадского, шагал, четко печатая шаг, молодой милиционер в расчищенных до блеска сапогах. Он весь горел, сверкал, скрипел, потрескивал складской новизной. Дежурил новоиспеченный страж порядка или просто вышел в новенькой форме покрасоваться перед фонарями и звездами — кто его знает. Заметив меня, он свернул под прямым углом и заступил мне путь.

— Что такое? — произнес он грозно. — Детям спать положено! — Его широкое лучезарное, хоть и прихмуренное от

сознания своего величия деревенское лицо тоже скрипело мужественной игрой желваков, сцепом челюстей, крепостью скул.

— Я заблудился! Вон мой дом! — Я махнул рукой на видневшийся в глубине Армянского переуллка угол моего дома.

— Заблудился? — недоверчиво повторил милиционер. — Адрес местожительства? — От него крепко и вкусно пахло кожей, сукном, ваксой и тройным одеколоном.

— Армянский, дом девять, квартира сорок четыре. А по Сверчкову и Телеграфному — дом один, а квартира тоже сорок четыре.

— Это как понять? — удивился и вроде обиделся милиционер. — Адрес только один должен быть.

— А у нас три адреса, — сказал я с достоинством. — Наш дом в три переулка выходит.

— Надо же! — Милиционер хлопнул себя по ляжке, обтянутой синей диагональю. — Только в Москве такое бывает. Три адреса! Ну и городишко!.. Пошли! — И он взял меня за руку.

В испуге я рванулся прочь, но не тут-то было.

— Спокойно! — сказал милиционер. — Обязан, как неподросшего, перевести на другую сторону магистрали.

Он вынул свисток и, хотя улица была пустынна, легонько свистнул, останавливая воображаемое движение.

— Перекресток у Сверčkова осилите или проводить? — спросил милиционер, когда мы оказались на той стороне.

— Осилим, — польщенно сказал я.

— Поглядите налево и начинайте движение. Достигнув середины проезжей части, поглядите направо и, если нет транспорта, продолжайте путь. — Он опять счастливо улыбнулся и козырнул.

Я выполнил его указания и через несколько минут, вихрем взлетев по темной лестнице, дернул веревку колокольчика у наших дверей. Я думал, что долго протомлюсь на лестничной площадке. К нам был один звонок, вернее, один треньк колокольчика. Ржавый и копотный, он давно утратил былое звонкоголосье. Разве услышишь одинокий щелк язычка? А станешь частить, обязательно примчится Данилыч, на ходу напяливая гимнастерку, в надежде, что началась мировая революция и ему предстоит вести полки, или директор подвальчика «Медведь» Фома Зубцов, тепло одетый, с пакетом в руках, тоже в полной готовности, но отнюдь не революционной.

Напрасно я беспокоился. Едва раздался слабый треньк, дверь распахнулась, — мама и Вероня давно уже поджидали на кухне, когда принесут мой изуродованный труп. Мне всегда предоставляли слово, прежде чем подвергнуть казни. Я быстро

рассказал, что произошло.

— Вот что значит лезть с черного хода... — Мама вздохнула, не докончив фразы, но я очень хорошо понял, что она имела в виду.

Прежде чем лечь в постель, я немного постоял у окна, глядя в лицо ночи, переставшей быть страшной. Почему я так боялся ее? В тихой, темной пустынности бродят странные добрые люди, которые не дадут тебе пропасть. Я мысленно пожелал им спокойной ночи: гордой молодой женщине, бывшему военному, которому не спится в мирной тиши, очарованному Москвой немцу и новоиспеченному стражу столичных улиц...

А на другой день вечером я снова пошел в ногинское полуподвалье. Я уже все решил про себя и лишь должен был убедиться, что страх ни при чем в принятом решении. Я был влюблен в свою ночь, но моя готовность к повторению пережитого нуждалась в проверке. И я понял, что боюсь трамвая № 21 и, наверное, долго буду бояться, но это не беда, потому что вскочу на него по первому же внутреннему посылу, не задаваясь вопросом, в какую сторону он идет. В таких делах я не обманывал себя.

Теперь, когда я знал, что больше не приду сюда, полуподвальные ребята казались мне куда симпатичнее. В них не было ни зазнайства, ни гонора, они просто не понимали мальчика, бросившего школьных друзей, чтоб пролезть в пионеры, как сказала моя мать, с черного хода. Их настороженное чувство ко мне шло от душевной опрятности. Мое время еще не настало. Красный галстук не даст мне другого сердца, я сам должен его обрести, тогда все сбудется. А для этого не нужно царапаться в чужие двери.

Я никому не сказал, что ухожу. Я исчез незаметно, когда все упоенно горланили «Юного барабанщика». И во двор долетало:

И стих наш юный барабанщик,
Его барабан замолчал...

Я не жалел, что расстанусь с ними, но к легкости, какую мне сообщило принятое решение, примешивалась печаль. Я буду помнить тихое лицо Рубинова, но меня тут никто не вспомнит. А это плохо. Надо оставлять какой-то след в душах тех, с кем тебя сводит жизнь.